

Алексей Биргер

## ДОМБРОВСКИЙ

В начале 1960-х годов мой отец Борис Биргер, делая наброски и эскизы к очередной серии натюрмортов — он намечал серию с глиняными кувшинами и разноцветными тряпками, — понял в какой-то момент, что для этой серии ему необходим небольшой восьмиугольный столик, что именно на таком столике композиции с кувшинами будут смотреться удачнее всего. Отец всегда был рукаст, с плотницким и столярным ремеслом в большом ладу, так что столик был тут же на месте сделан, покрашен в жемчужно-серый цвет и стал идеальной основой для натюрмортов. Столик немного покачивался, но отца это не беспокоило, ведь столику предстояло быть разобранным, как только задуманная серия будет завершена.

Однако... Пришли очередные гости, надо было где-то чай сервировать, и подручный столик пригодился. За первыми гостями — следующие, друзья, любители искусства и покупатели картин, и столик незаметно, естественно и просто «втянулся в работу», так что и мысли больше не возникало его разобрать.

В итоге прожил он больше сорока лет и сгинул, когда и отца уже не было, а мастерские художников — надстройка со стеклянными крышами в доме на углу Сиреневого бульвара и 9-й Парковой — были выкуплены строительной фирмой и переделаны в модные «пентхаузы». Тогда и суды были: многие возмутились, что Союз художников заключил договор со строительной фирмой без их, владельцев, во время приватизировавших мастерские, ведома, и пыль была столбом... Вроде кому-то чего-то удалось добиться, получить равноценные мастерские, но во всех этих судебно-строительных заварушках столик сгинул, не успели его спасти.

Жаль. Он был ярким свидетелем истории. Если бы все, кто оказывался за ним, расписывались на столешнице, места бы не хватило уже через несколько лет. Сотни и сотни людей. Начни перечислять навскидку — и увязнешь. Александр Галич, Булат Окуджава, Андрей Сахаров, Петр Капица, Владимир Вейсберг, Юрий Любимов, Генрих

Бёлль, Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Джон ле Карре, министры культуры ГДР, ФРГ и Франции, Лев Копелев, Алла Демидова, Вениамин Смехов... Да надо просто поглядеть всю портретную галерею отца — и, как ни перечисляй, все равно кого-нибудь обидишь забывчивостью.

Столик стал чем-то вроде символа и талисмана мастерской. Он продолжал чуть покачиваться, но при том оказался на удивление устойчив. Даже крепко подвыпившим гостям с размашистыми и резкими движениями не удавалось его перевернуть. Уж на что Отар Иоселиани старался...

Перевернулся он единственный раз за все бесчисленные годы, и опрокинул его Юрий Домбровский. Он начал читать свои «лагерные» стихи, увлекся, рванул столик на себя и вместе со столиком и со всем накрытым на нем чаепитием оказался на полу.

Пока его поднимали, отряхивали, усаживали на стул, доставали новые чашки, он продолжал читать стихи, четко и невозмутимо, ни на секунду не прервавшись.

Отец потом сказал:

— Я даже не знаю, хорошие это стихи или плохие. Просто они настолько страшные, что о них невозможно судить.

Да, стихи Домбровского — прямые и точные показания свидетеля, от которых перехватывает дыхание. Я с каждым годом люблю их все больше и больше. И все больше и больше понимаю Мандельштама, писавшего, что в стихах он начинает ценить только «дикое мясо». Вот это дикое мясо правды — когда вышел человек и поклялся говорить правду, только правду и ничего кроме правды — и делает поэзию Домбровского совершенно уникальной. И даже шероховатости, к которым знатоки и ценители стиля могли бы правомерно придаться, меня восхищают. Они всегда очень на месте, они лишь подчеркивают волнение, которое вынужден преодолевать свидетель, чтобы внятно и последовательно рассказать суду истории, суду последующих поколений о совершенно невыносимых вещах.

Есть в его стихах некая, тоже уникальная особенность. С одной стороны, даже в том, что можно назвать любовной, пейзажной или философской лирикой, внешне далекой от лагерной темы, все равно проступает черная тень лагерей. Ужас, таящийся за невинным и прекрасным, становится вечным камертоном, ужесточает все линии и штрихи. С другой стороны, красота мира, красота каждой мелочи

пишется им с ясностью и упоением, с любованием и чуть ли не эстетством, напоминающим Оскара Уайльда. Это любование, это неожиданное открытие красоты там, где ее вроде быть не может, проникает и в лагерную тему, окрашивает ее восхищением сопротивляемостью жизни любой тьме и любой гнили. И ночь такая звездная, что один свет звезд превращает весь мир, включая лагерные бараки, в волшебную феерию, и снег сверкает в первозданной чистоте, и каждый рассвет таков, будто земля только сегодня сотворена и чиста, и везде — превращение в «янтарную брошь»...

Происходят многократные перевертыши и взаимопревращения, ужасное приобретает черты прекрасного, а в прекрасном сквозит лютый ужас, и из этого возникает особый сплав, особая проникновенность, совершенно особая картина мира.

Помню, как я был ошеломлен, когда впервые открыл уже потрепанный номер «Нового мира» и прочел:

«Выезжал я из Москвы в ростепель, в хмурую и теплую погоду. То и дело моросил дождичек, и только-только начали набухать за заборами, на мокрых бульварах и в бутылках на подоконниках бурые податливые почки. Провожали меня с красными прутиками расцветшей вербы, потешными желтыми и белыми цветами ее, похожими на комочки пуха. Больше ничего не цвело. А здесь я сразу очутился среди южного лета. Цвело все, даже то, чему вообще цвести не положено — развалившиеся заплоты (трава была прямо из них), стены домов, крыши, лужи под желтой ряской, тротуары и мостовые».

И с таким же наслаждением, с таким же запечатленным цветом и ароматом, описано все: и знаменитый алма-атинский собор, и дружеские посиделки, и яблоневоы сады... и прекрасное свежее утро, в которое готовится арест главного героя.

И одновременно почти сразу появляется и нарастает ощущение черной воронки, в которую всю эту красоту затягивает: воронки репрессий, воронки переломанных человеческих судеб, воронки всеобъемлющего страха, отравляющего и самых смелых и честных.

(А если вспомнить «Факультет ненужных вещей», вышедший намного позже «Хранителя древностей», то и там красота на грани кошмара действует почти гипнотически: в долгой беседе со священником о ночи в Гефсиманском саду и о Суде Синедриона роскошная среднеазиатская ночь как бы сливается с роскошной иудейской ночью, и не просто идет сопоставление сталинского

террора со страданиями Христа, а возникает невероятная красота страдания, и каждая красочная деталь безошибочно ложится в нужное место на общей картине, и ощущаешь все вместе: и спасительную прохладу южной ночи с пряными ароматами пышных растений, и рассвет, затмевающий пламя костров, и напряжение пролетающих минут...)

Вот это «низвержение в Мальстрём» тебя самого втягивает так, что оторваться невозможно, жадно перелистываешь страницы, и потом перечитываешь снова и снова, и из ничего, из самых обыденных явлений, опять-таки снова и снова, все с большей силой, вырастает ощущение того, что можно, конечно, назвать ощущением сюрреалистичности происходящего, но вернее — ощущением неизбежности открывающихся друг за другом, вне внешнего плана, пространств, то добрых, то злых, но всегда притягательных.

Это ощущение наверняка испытывали читатели тех стран, на языки которых был сразу переведен «Хранитель древностей». Для многих, бесконечно далеких от советских реалий тридцатых годов, оно, наверно, было необъяснимо, и они пытались подогнать его под свои сложившиеся схемы, под модные в то время концепции творчества.

Домбровский очень возмущался, когда прочел в статье одного из ведущих английских критиков, что «Домбровский, несомненно, является главой современного мирового сюрреализма, потому что только в очень воспаленном, больном и фантазмагоричном сознании могла возникнуть идея, что можно пить спирт из-под заспиртованных пресмыкающихся...» (этим, кто помнит, с успехом занимался музейный старик столяр):

— То есть как это — «больное сознание»? Я вместе с ним этот спирт пил!

С международным успехом «Хранителя древностей» связана яркая история, которую неоднократно рассказывали, и даже показывали в лицах, все ее участники. К сожалению, никто ее так и не записал, и никого уже нет на этом свете, так что придется воспроизвести мне — по рассказам отца и других гостей Домбровского в тот вечер. Во всех деталях эти рассказы совпадали настолько полно, что вряд ли возможны большие искажения.

Когда пошли зарубежные издания «Хранителя древностей», Домбровский, естественно, стал получать гонорары в валюте; то есть в виде заменяющих валюту внутри Советского Союза «березочных»

чеков, чеков «серии Д», на которые можно отовариваться дефицитом в сети валютных магазинов «Березка».

По этому случаю решил он устроить большой пир для всех друзей, и за помощью обратился к лагерной поварихе, с которой продолжал поддерживать отношения и спустя многие годы после освобождения. Повариха эта, крупная и увесистая женщина, более добродушная, чем могло показаться по ее командирскому внешнему виду и зычному голосу, с большой теплотой относилась к «политическим» заключенным и всегда старалась их подкармливать.

Домбровский и повариха привезли из «Березки» огромные сумки невероятных для советского времени напитков и снеди.

Жил Домбровский тогда еще в коммуналке — той коммуналке, классической, которую только Зощенко сумел изобразить в полноте. Да достаточно вспомнить документальный рассказ Домбровского «Записки мелкого хулигана» — как он получил пятнадцать суток за то, что отобрал топор у пьяного мужа, гонявшегося за женой. Его признали зачинщиком драки и впяили, а судья еще прочла ему назидание, что нельзя вмешиваться в семейные разборки между мужем и женой. Советовал бы перечесть этот рассказ тем, кто не знает, не представляет или подзабыл кошмары советского коммунального быта.

Понятно, что в такой «вороньей слободке» явление Домбровского и поварихи с грандиозными сумками и организация большого, через всю комнату, от двери до окна, стола, вызвало большое волнение. Для создания такого стола и скамеек к нему пошли в дело доски, откуда-то принесенные, организован был сбор вилок и ножей, нашлись в нужном количестве скатерти. Жил Домбровский очень скромно — тарелка, ложка, вилка, ножик, чашка, кастрюлька — поэтому поварихе пришлось выкручиваться по-своему. На столе сияли осетрина разных видов, черная и красная икра, всевозможные балыки и ветчины, лучшие сорта водки, коньяка, виски и джина со всего мира. Недостающие тарелки и стаканы заменили картонными прямоугольниками и майонезными баночками.

Когда же гости расселись, емкости для напитков были наполнены, а закуски разложены по тарелкам и тому, что их заменяло, Домбровский обратился к поварихе, сидевшей в торце стола, впритык к двери (чтобы можно было свободно бегать на кухню и следить за горячим):

— Спой нам первым тостом ту нашу, которой ты всегда нас в лагерях поддерживала!

Массивная повариха поднялась со стаканом в руке. Неплотно закрывающаяся дверь позади нее то и дело распахивалась от сквозняков, в коридоре гурьбой сновали соседи — якобы по делам, а на самом деле в надежде подглядеть, что же там происходит — так что поварихе во время исполнения заздравной приходилось все время ногой прихлопывать дверь. Выглядело это так:

*Налейте нам грогу в дорогу...*  
 (дверь поехала внутрь комнаты — баммм!)  
*Стакан!*  
*Бездельник, кто с нами не пьет!*  
 (Баммм!)  
*Так выпить бы нам нужно...*  
 (Баммм!)  
*За девушек всех дружно...*  
 (Баммм!)  
*Давайте за девушек выпьем,*  
*А Бетти сама разольет!..*  
 (Ба-баммм!)

На первых же словах Домбровский заплакал и выпил со слезами на глазах.

Столько всего сошлось! Наверно, вся жизнь перед ним проходила. И мысль о том, что все-таки он ЭТО сделал, есть книга, которую все будут помнить, в которой правда и ничего, кроме правды...

Приблизительно в то же время он пришел к моему отцу:

— Представляешь, Борис, работал в Ленинке, вышел перекурить — и вдруг встречаю человека, который подписал донос на меня и из-за которого я получил очередной срок. Сколько лет я мечтал, как встречу с ним и что с ним сделаю! Я ему и сказал: «Пойдем, выйдем». Он покорно, ни слова не говоря, пошел; завернули мы в закуток переулочка за библиотекой. И тут он кинулся на меня чуть не в истерике: «На, мордуй, убивай! Знаю, что заслужил! Но ты одиноким был, а у меня семья, дети! Если бы тоже был одиноким, может, и не подписал бы! Но что бы с моей семьей было?!..»

— И?..

— И я отряхнул ему пиджак и сказал: «Да ну, ладно, пойдем, выпьем». Пошли в рюмочную неподалеку от библиотеки, там выпили, поговорили.

Многие это отмечали: что грозный на словах Домбровский на деле оказывался изумительно добрым и многое был способен понять и простить.

Есть, мне кажется, и еще один момент. Сейчас всем известно, что основной донос на Домбровского, когда он получил свой последний срок, написала женщина, которую он любил и в любовь которой искренне верил. Кроме прочего, она давала ему читать чудом привезенного в СССР и еще непереведенного Хемингуэя и других авторов, буквально через несколько лет ставших безобидными кумирами всех читателей страны, а тогда... Тогда и это лыко вязалось в строку: низкопоклонство перед Западом, восхищение писателями, чуждыми советскому духу, протаскивание антисоветской идеологии через их открытое восхваление... Несколько человек, друживших с Домбровским, говорили мне, что он до конца жизни не знал о ее роли в своем деле. Тут у меня сильные сомнения. Он мог никому не говорить об этом, оберегая память о прежних чувствах, но *он знал*, потому что как иначе объяснить стихи («Надпись на фото»):

*Моя тоска вступила в год седьмой.  
Лесами с Осетрово до Тайшета  
Меня влекла, знала твоя комета,  
И ночью я беседовал с тобой.  
Ты мне была и счастьем, и судьбой,  
И сумерком, и ясностью рассвета.  
Не тронута и до дыры запета,  
Как рельса, прогудевшая отбой.  
Так за годами годы шли. И вот  
Все прояснило, в горечи невзгод,  
В блатных напевах, в сказке о наседке  
(О гадине, что давят напоказ)  
Я прочитал, что Бог тебя упас  
От рук моих и от петли на ветке.*

Кроме знания о предательской красоте, сквозь которую проступает ужас, тут «сумерки и ясность рассвета» сталкиваются с лагерной «рельсой, прогудевшей отбой», «горечь невзгод» встречается с «блатными напевами», — «сказка о наседке» (смотри стихотворение «Наседка», как всем баракком убивали стукача) вдруг воз-

растает до Бога и до библейской «петли на ветке». В «Наседке» Домбровский описывает убийство стукача как реальный конкретный факт со множеством страшных и точных деталей, с грубыми подробностями, которых не выразишь умозрительно. А здесь убийство «гадины, что давят напоказ», переносится в разряд летучих и чуть ли не фантастических лагерных мифов. Домбровский «прочитывает» пережитое за шесть с лишним лет и говорит: жизнь умудрила, что я отомщу тебе, но не физической расправой, а по-другому, в творчестве.

Он не то чтобы возвышается над личной рукотворной мезгие, он вступает в иные просторы, где такая мезгия остается далеко внизу — как ничтожная и не имеющая значения. Не назовешь это ни прощением, ни возвышением, но оттенки того и другого присутствуют.

И память об этой женщине мешала Домбровскому судить других, сломавшихся и слабых.

Чуть позже происходит и другая история. К тому времени Домбровский обрел наконец собственную квартиру, вышло на западе русскоязычное издание «Хранителя древностей».

Он в такси ехал с друзьями к себе домой. Кроме него в машине были мой отец и Валентин Непомнящий. (Вроде мелькало упоминание, что и Валентин Берестов там был, но я не поручусь, воспоминание смазанное, за давностью лет.)

Таксист попался хмурый и злой на весь мир. Он по-хамски пренебрежительно несколько раз буркнул что-то в ответ на вопросы пассажиров, вообще всем поведением старался «поставить их на место». Непомнящий не выдержал:

— Если бы вы знали, кого везете! Замечательного писателя, очень известного!

— Знаем мы ваших писателей, развелось... — пробурчал таксист.

Тут завелся Домбровский:

— Я вам не какой-нибудь! У меня не только здесь книги выходят, у меня и за рубежом книга вышла! Поднимемся ко мне, я вам покажу!

Подъехали. Таксист, крепко конвоируемый Домбровским, нехотя поднялся в его квартиру.

— Сейчас я вас всех яичницей накормлю, потому что, наверно, все голодные, — заявил Домбровский, — а потом мою книгу покажу, вот увидите!



Обалдевший таксист присел, а Домбровский, приготовив большую яичницу, стал искать привезенный ему экземпляр книги, пока яичница настаивалась — и нигде не мог найти.

— Где же она... Где же она... — растерянно возмущался он. Потом махнул рукой: — Съедем яичницу, пока не остыла, а потом еще по-ищем.

Он поднял сковородку с яичницей и радостно воскликнул:

— Так вот же она! Я, оказывается, на нее сковородку поставил, когда с плиты снял! На, смотри! — пихнул он книгу в руки таксисту.

...Таксист удалился совсем обалдевший, пристукнутый, притихший — и накормленный.

Таких историй о Домбровском было много. Вроде бы совсем неустроенный и непристроенный в быту, он саму неустроенность превращал в нечто очень легкое и артистичное. Было в этом что-то моцартовское, примета гения, распахнутого миру.

Последний раз я видел Домбровского незадолго до его смерти. В Пушкинском музее (не имени Пушкина, а Пушкинском) был завершающий вечер цикла «Онегинских чтений» Валентина Непомнящего. Домбровский, естественно, остался в числе гостей за небольшим накрытым столом, которым отметили завершение цикла. Было около десяти человек, разговор вертелся вокруг пушкинских тем, Домбровский больше слушал, чем говорил, очень внимательно следя за каждым говорящим. Меня тогда особо поразил его взгляд. Глаза у него всегда были немного запавшие, а тут они совсем утонули в глазницах, и он стал совсем седой. И при этом его пристальный взгляд был настолько ярким, настолько пронзающим, что глаза казались огромными и непосредственно обращенными на тебя.

Я не могу точно припомнить дату, когда это было. Помню, что погода была сырая и промозглая. Скорей всего, поскольку в музее закрывался сезон Пушкинских вечеров, это было уже после таинственного избиения Домбровского в фойе Дома литераторов, о котором тогда немало говорили по Москве. Общее мнение склонялось к тому, что это была месть за то, что он все-таки издал «Факультет ненужных вещей» на Западе.

Во всяком случае, выглядел он резко постаревшим, как будто слишком много разом на него навалилось. Мне думается, не только из-за избиения. Не мог он не переживать и того, что произошло со сценарием фильма по «Факультету ненужных вещей». Фильм вышел

под названием «Шествие золотых зверей». Власть, можно сказать, действовала методом кнута и пряника: роман мы к изданию не допустим, но напишите сценарий по роману, и фильм мы разрешим... В итоге, после многочисленных цензурных вычеркиваний, из сценария была полностью убрана лагерная тема, тема рока, нависшего над всеми героями. Не говоря уж о евангельской теме. Осталась лишь детективная составляющая романа: кража с археологических раскопок древних золотых фигурок. И без нарастания атмосферы обреченности, затягивающей в себя всех причастных к этому делу археологов и специалистов, сама детективная линия утрачивала глубину и внятность, превращалась в чисто советское «если кто-то кое-где у нас порой...» Как выразился один из зрителей фильма, «нудная слезливая мелодрама». Притом, что и актеры были классные, и оператор отлично сработал, и режиссер был толковым. Такой фильм был оскорблением автора, и Домбровский не мог этого не понимать.

И в памяти осталось, что о смерти Домбровского мы услышали почти сразу, можно сказать, не успев доехать до дому. Но это, конечно, ложное впечатление. Умом я понимаю, что какое-то время прошло, может, месяц или поболее, но вот внутреннее ощущение, что это был вечер прощания и что Домбровский ушел сразу после него, никуда не исчезает.

Смерть приходит волнами, прямо-таки по присказке «Пришла беда — отворяй ворота». Вот и тогда волна накатила. За короткое время — Набоков, Галич, Домбровский, многие другие, не столь известные, но не менее драгоценные для памяти. Потом волна спала, чтобы опять подняться через несколько лет. И так и пошло, и пошло, и пошло.

И ведь довелось дожить до многочисленных изданий и переизданий всех вещей Домбровского, до шеститомного собрания сочинений, до целой литературы о нем.

Сколько-то лет назад, уже в нынешнем двадцатом веке, обратились ко мне с казахской телестудии:

— Вы лично знали Домбровского, — (не «знал», а «видел», поправил я, знать его могли друзья и близкие, а я лишь взирал на него, что тоже было везением), — так не могли бы вы написать сценарий документального фильма о нем? Это же писатель с мировым именем, тесно связанный с Казахстаном судьбой, биографией, темами книг, и Казахстан очень им гордится. Ведь почти нет писателей та-

кого масштаба, которых Казахстан мог бы с полным правом называть «своими» или «и своими тоже».

— Я с радостью напишу, — ответил я. — Но тут есть одно но. Неполную картину жизни, идей Домбровского давать нельзя и неприлично, а для полноты картины надо будет говорить и о том, что, по Домбровскому, Россия сыграла гуманнейшую и просветительскую роль в истории Казахстана, что Алма-Ата до советской власти была казачий город Верный, что и является ее историческим названием. А советская власть переименовала, стирая память о казаках, к которым отношение было не самое доброе, и на словах подчеркивая «многонациональную общность советского народа». И переименовала-то с ошибкой, недаром потом поправили на Алматы. Именно казаки, а потом русские инженеры, врачи и строители, считал Домбровский, принесли цивилизацию в полудикий край, и нынешний Казахстан всем им обязан. Об этом есть и в «Хранителе древностей», и в «Факкультете ненужных вещей», и во многих других вещах и письмах.

Так и шарахнулись:

— Нет... это невозможно!

— Но невозможно и умалчивать. Найдите историков, которые будут доказывать, что Домбровский опирался на не совсем достоверные документы, что он в чем-то обманулся, в чем-то ошибся, что свойственно человеку, пусть будет спор с Домбровским, но совсем отмахиваться от этой темы нельзя.

— Ну... нет, тогда фильма не будет.

На том и завершилось.

Мне в последние годы неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что правда о тех или иных людях, которых я знал, вновь оказывается неприемлема и неудобна, пусть и по совсем другим причинам, нежели прежде. Но это уже совсем иная тема.

